

Николай Эдуардович Гейнце

**Первый русский
самодержец**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Н63

Н63 **Николай Эдуардович Гейнце**
Первый русский самодержец / Николай Эдуардович Гейнце – М.: Книга
по Требованию, 2012. – 160 с.

ISBN 978-5-4241-1395-6

Первый роман, "Малюта Скуратов", Гейнце опубликовал в 1891 году, а всего на его счету несколько десятков романов ("Аракчеев", "Дочь Великого Петра", "Генералиссимус Суворов", "Ермак Тимофеевич" и др.). Его исторические романы - рассказывающие о событиях злободневных и представляющих интерес для читателей, хотя непритязательные и грешащие вымыслом, - пользовались большим успехом у публики и не раз переиздавались, а его имя стояло в одном ряду с такими литераторами, как П.Боборыкин, Вс.Гаршин, В. Короленко. Кроме того, Гейнце сочинял еще и уголовно-бытовые романы и повести ("В тине адвокатуры", "Женский яд", "В царстве привидений" и пр.) и пьесы

ISBN 978-5-4241-1395-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Николай Эдуардович Гейнце
Первый русский самодержец

Часть первая

Господин или государь?

I

В Новгороде

На дворе стоял сентябрь 1477 года.

Бледные осенние тучи бежали по небосклону. Из них сыпался мелкий частый дождь; отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряною дымкою; ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шумя последними желто-красными листьями молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхов, и тогда, пробужденная от своего величественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клекотала, как кипятилок.

Вдруг среди этих чудных по своему разнообразию звуков природы раздался звон вечевого колокола в Новгороде: раз, два... и залился. Вся окрестность, содрогнувшись, заныла от этого звука.

Народ, заслыша его, повалил буйными и нестройными толпами на Ярославово дворище, окружавшее вече, и буквально затопил его. Рогатки, заграждавшие улицы, раскидывались и трескали от напора толпы.

Призыв на вече раздался рано утром, и рогатки еще не были раздвинуты ярыжками.¹

— Что за невзгода снова грозитя на нас бедных! — восклицали иные бегущие вслух, а другие только думали то же про себя, спеша достигнуть двора Ярославлева, с которого несся вещий и пронзительный звук вечевого колокола.

Без всякого порядка, без малейшего уважения к этому священному месту, бросился народ к воротам и стучал в них чем попало, угрожая выломать их, или же сшибить камнями звонаря, если его тотчас не впустят в общее собрание.

Несколько караульных, — иные с бердышами, иные с пищальями, чинно разъезжавших вокруг двора, — были смяты, а полусонные ярыжки, шатавшиеся в изумлении и хлопотах во все стороны с поднятыми, присвоенными их должности палками, были биты ими же.

Наконец, ворота подались, скрипнули, народ еще теснее прижался к ним, и они начали медленно растворяться.

Толпа с шумом, подобно бурному потоку, бросилась в них, но вдруг отступила, как бы пораженная внезапным видением, окаменела и мгновенно оказалась с обнаженными головами.

Архиепископ Феофил, во всем облачении, с животворящим крестом в руках, сопровождаемый знатнейшими сановниками, посадниками города и клиром, появился перед народом.

— Люди дерзновенные! — раздался среди наступившей могильной тишины его грозный голос. — Образумьтесь! На что покушаетесь вы и перед кем? Разве забыли вы, ослушники богопротивные, пред чьим лицом предстоите? Смиритесь и приложите внимание к грамоте, которую прочтут вам. Но предваряю вас: размыслить хорошенько, о чем пишет к вам законный ваш князь. Вот наместник его, прибывший к нам вчера о вечерье.

Архиепископ указал рукою на бывшего тут же боярина Федора Давыдовича и продолжал:

— Не посрамите себя перед ним, дайте в душе вашей место голосу совести и отвечайте ему кротко, что внушит вам рассудок. Настало время решительное. Отечество наше зыблется. Вы сыны его; я пастырь ваш; мы должны поддержать, исцелить язвы, которые и прежде гнездились в самом сердце его! Обдумайте, решитесь и преклоните колена перед милосердной заступницей нашей, святой Софиею.

Феофил кончил и подал знак рукою. Посадник Яков Короб начал читать за-просную грамоту великого князя:

— «Осподарь вся земли русския и великий князь московский, владимирский, псковский, болгарский, рязанский, воложский, ржевский, бельский, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондийский и иных земель отчин и дедич, и наследник, и обладатель, Иоанн Васильевич, посылает отчине своей Великому Новгороду запрос с ближним боярином своим и великим воеводою, Федором Давыдовичем: что разумевае народ его отчины под именем государя вместо господина, коим назвали его прибывшие от них послы архиепископские: сановник Назарий и дьяк веча Захарий? Имуть-ли они желание видеть власть судную в одних его руках и хотят ли присягнуть ему как полному властелину, единственному законодателю и судии не причастному, не иметь у себя тиунов, кроме княжеских, и отдать ему двор Ярославлев, древнее место веча? Если так, то он посылает им милость свою и скоро имеет вступить во владение своих праотцев. Сию запись скрепил печатник печатью великокняжескою, князь Юрий Патрикеев. Писал ее дьяк Анциферов, по реклу² Шершавый».

Далее были прочтены скрепы сановника Назария и дьяка Захария.

Когда посадник окончил чтение этой грамоты, несколько минут народ хранил молчание ужаса, затем уже послышался глухой ропот:

— Это все бояре да посадники мудрят; якшаются с москвитянами, одаряются ими и тайком от нас обыскаются вестями да записями!

— Зачем же вече-то установлено, как не про всех? Что мы черных сотен слобод людишки, так нам и не поверяют умыслы свои! Вот от белых-то и замарались! Дело вышло на разлад, так наши же руки и тянут жар загребать! — слышались там и тут возгласы.

— Как бы не так! Что сами заварили, пусть сами и расхлебывают! — крикнул чей-то голос.

— Кто отвращает лицо свое от блеска меча вражеского, тот недостойн называться гражданином Новгорода Великого! — возвысил голос архиепископ. — Но дело не в том. Прение наше должно совершиться в льготу отчизне, иначе месть Божия над нами!

— Владыко святыи! — начал тысяцкий Есипов. — Ты сам видишь, что всю судную власть забирает себе наместник великокняжеский. Когда это бывало? Когда новгородцы так низко клонили свои шеи, как теперь перед правителем московским? Когда язык наш осквернялся доносами ложными, кто из нас был продавцам своего отечества? Упадыш? Казнь Божия совершилась над ним! Так да погибнут новые предатели — Назарий и Захарий. Мы выставляли князю московскому его оскорбителей, выставь и он нам наших!

— Вестимо так, требуем этого по договорным грамотам! — раздались народные крики.

— Постойте, выслушайте меня, или же слагаю теперь же сан свой с себя! —

заговорил Феофил, возвышая голос, заглушаемый народом.

Из уважения к пастырю душ воцарилось молчание.

Архиепископ заговорил:

— Чьи очи из вас не зрели бедствия уничтожения и срама отечества в недавнем времени? Чей слух не был раздираем воплями соотечественников — братьев ваших? Чье сердце, содрогаясь, не соболезновало в те тяжкие времена? Ваша кровь не совсем еще высохла на стенах крепостных, и вы, кичливые, опять становитесь доступны гордости, самонадеянности и непослушанию; опять даете пищу мечу вражескому, опять хотите утолить жажду его собственной кровию! Проклят тот, кто несправедную силу не отражает силою, но вдвое тот — кто противится правоте.

— Владыко святой, да видит Бог, мы неповинны. Ты сам видишь, на нас нагнали. Между нами предатели, Иуды! Так бы и Литва не поступила! — снова закричал народ.

— Дети мои, — кротко и величественно отвечал Феофил, — сознавайтесь, чашу горшую должны допить вы за прошедшую вину свою, ничем неискупимую. Не ропщите же, но допивайте ее. Презренные наушники зло хитрят над вами: отклоните от их наветов слух свой, будьте терпеливы и предайтесь на волю Провидения. Мы обошлемся сперва с князем, обвиним предателей и поклонимся ему; предатели будут наказаны собственным грозным судом своей совести, а от нас да будут они преданы анафеме! Пойдемте же, преклоните колена перед престолом Всевышнего: это будет священным началом нашего дела!

Он снял клобук, благоговейно перекрестился и пошел.

— Анафема изменникам! — торжественно воскликнул клир.

— Анафема! да будут преданы анафеме изменники — предатели отечества! — подхватил народ и в стройном порядке отправился за своим духовным владыкою.

Величественную и стройную картину представил из себя храм святой Софии, основанный князем Владимиром, сыном Ярослава Великого, оставшийся донныне единственным памятником древнего Новгорода, когда благочестивый архиепископ, облаченный в крещатую ризу, с паствой своей преклонил колено перед алтарем и клир умирительно запел молитву «Царь Небесный».

По окончании ее Феофил вдохновенно произнес:

— Царь Небесный услышит нас, когда мы dokonчим благословенное начало, но гром Его не замедлит разразиться в противных поступках. Опять повторяю вам: будьте кротки и терпеливы. Видите ли вы в куполе образ Спасителя со сжатою десницею вместо благословляющей? «Аз-бо, — вещал глас писавшему сию икону, — в сей руке Моей держу Великий Новгород; когда же сия рука Моя распространится, тогда будет и граду сему окончание».

Растроганный народ начал молиться почивающим в храме мощам: святителя Никиты, печерского затворника, благоверной княгини Анны, матери его, приложился к Евангелию, писанному святым Пименом, и иконам Всемилоственного Спаса и Премудрости Божией — Петра и Павла, затем вышел на паперть, поклонился праху архиерея Иоакима и, освеженный и успокоенный пастырским словом, мирно разошелся по домам.

II

В тереме Марфы

Темная ночь давно уже повисла над землею... Луна была задернута дождевыми облаками, ни одна звездочка не блестела на небосклоне, казалось, окутанном траурною пеленою. Могильная тишина, как бы сговорившись с мраком, внедрилась в Новгороде, кипящем обыкновенно деятельностью и народом. Давно уже сковала она его жителей безмятежным сном, и лишь изредка ветер, как бы проснувшись, встряхивал ветвями деревьев, шевелил ставнями домов и опять замирал.

Вся Никитская улица с своими домами, балаганами и лачужками утопала в непроницаемом мраке. Только в самом конце ее в продолговатом окошке высокого терема, обращенном на двор, мелькал огонек. Терем этот отличался от других особенным искусством и красотою в постройке, а потому назывался «Чудным теремом».

Его окружал на большое пространство высокий забор с зубцами, а широкие дощатые ворота, запертые огромным засовом, заграждали вход на обширный двор; за воротами, в караулке дремал сторож, а у его ног лежал другой — цепной пес, спущенный на ночь. Кругом, повторяем, царил мертвая тишина, лишь где-то вдали глухо раздавалась переключка петухов, бой в медную доску, да завывание собак.

Послышались чьи-то тяжелые, уверенные шаги. Кто-то шел вдоль забора и, оставаясь у калитки, вырубленной в воротах, отыскал проволоку, продевая сквозь нее, и потянул ее к себе.

Раздался тонкий звук колокольчика.

Чуткий пес, давно уже настороживший уши, рывкнул, вскочил, подsunул рыло под подворотню и радостно забил хвостом о землю. Сторож тоже встрепнулся, и с языка его сорвался обычный вопрос:

— Кто идет?

— Свой! — ответил ему не громко, но грубо, поздний гость.

В ту же минуту сторож подскочил к калитке, медное кольцо зазвучало, и незнакомец, тщательно закутанный, перенес свою ногу через высокий порог, оправил полы своего широкого охабня и опять грубым голосом сказал сторожу:

— Тебе, старый леший, сидеть бы на горохе, да пугать бы воробьев. Что так рано пришиб тебя сон? Разве забыл, что должен дожидаться меня?

— Не во гнев твоей милости, господине, от самой боярыни вышел приказ держать ворота на запоре! — отвечал ему сторож.

Вошедший посмотрел на окно терема.

— Что это за огонь в оконце?

— Должно быть, светец горит, али жирник, а статья может свечи теплятся в образной боярышницей перед ликом праздничной иконы. Завтра ведь праздник Рождеству Богородицы.

— Не в прок мне знать о празднествах твоих. Говори, старый плут, не укрывается ли кто у ней? Все ли наши собрались?

— А кто их знает. Я кроме тебя, да князя Василия Ивановича, никого не знаю. Вишь, ходят все ночью, как тати.

— Скажешь ли ты мне, кто с ней, или я вызову у тебя язык вот этим! — вскрикнул незнакомец и, распахнув полы охабня, показал на кинжал, блеснувший во мраке своей серебряной чешуей.

— Сейчас, боярин, сейчас. Пошел к ней еще о вечерах; в память ли тебе тот

чернец-то, что, бают, гадают по звездам? Мудреный такой! Ну, еще боярыня серчала все на него и допрежь не допускала пред лицо свое, а теперь признала в нем боголюбивого послушника Божия? В самом деле, боярин, уж куда кроток и смирен он! Наша рабская доля — поклонись ему низехонько, а он и сам также.

— Кто бы это? — проворчал сквозь зубы вошедший. — Да это соловецкий пришелец, монах тамошней обители, все оттягивает у легковерной бабы льготы от земель ее на свой монастырь. Ну, я выжму ж его от нее... Он что-то мне подозрителен, — продолжал он вслух высказывать мысли, направляясь к крыльцу терема.

Терем этот принадлежал вдове бывшего новгородского посадника Исаака Борецкого — Марфе.

В описываемую ночь она сидела в своей наугольной гриднице, где на широком дубовом столе догорала восковая свеча в точеном, костяном светце и освещала передний угол с иконами в богатых окладах. Гридница эта была под сводами и роскошно убрана во вкусе того времени. Стены ее были обиты алым бархатом с раскиданными на нем серебряными и золотыми звездочками, а по бокам воткнуты были красивые, позолоченные стрелы, как бы поддерживая эти богатые обои. В глубине гридницы стояло высокое ложе с пышными, шитыми в узор шелками изголовьями, задернутое кружевным пологом.

Марфа Борецкая сидела недалеко от него, важно раскинувшись на лавке, покрытой соболями.

Это была красивая, но далеко не молодая женщина. Покрывало ее, отороченное золото-шелковой бахромою, было немного опущено на лицо, и из-под него мелькали быстрые глаза, особенно когда она повелительно устремляла их на своего собеседника, скромного чернеца, сидевшего перед ней с опущенным долу взором.

Этот чернец был отец Зосима, еще довольно молодой настоятель Соловецкой обители.

— Да скажи же мне, отче Зосима, каким случаем сделалась известной обитель Соловецкая и по чьим следам вошел ты в нее? — говорила Марфа.

— Невидимая рука Божия привела меня в тихое и уединенное пристанище, — отвечал отец Зосима. — Предместник мой, святитель Савватий, бывший инок Кирилло-Белозерского монастыря, искал пустыни, где бы мог укромно возносить молитвы свои к престолу Всевышнего и безмятежно кончить дни свои, пустился странствовать с духовным братом своим Германом. Они отыскиали такое место на диком, уединенном, совершенно безлюдном острове и поселились на нем в 1442 году; там выстроили они себе убогий шалаш под мрачными сводами елей, недоступными солнечным лучам, а подле него часовню и дожили срок жизни своей тихо и благословенно.

— Как же ты переступил рубеж светской жизни? — продолжала допытываться Борецкая.

— Молва и слава о подвигах моего предместника огласилась во всех концах земли русской, сердце мое закипело святым рвением — я отверг прелесть мира, надел власяницу на телесные оковы и странническим посохом открыл себе дорогу в пустыню Соловецкую, обрел прах предместников моих, поклонился ему, и искра твердого, непоколебимого намерения, запавшая мне в душу, разрослась в ней и начала управлять всеми поступками моими. С благословения покойного

архиепископа новгородского Ионы, основал я храм и огородил его стенами. Люди чуждые мира стекались ко мне во всех сторон и охотно понесли со мной тяжелый крест, скоро сделавшийся для нас легким; все избрали меня настоятелем, и это избрание довершил Иона благословением своим и поставил меня в игумены. Мощи святителя Савватия перенесли мы со всем благочинием в обитель, где почивают они и донныне. С тех пор живем мы тихо, миролюбиво и привольно. Грамотою новгородской предоставлено нашей обители владеть островами Соловецким, Анзерским, Заяцким и другими. Мы, сколько могли, улучшили обитель: питаемся рыбною ловлею и засеянными нашими руками овощами; завели солеварню, провели каналы от потопления и без всякой нужды ожидаем вечности.

— И тебе, отче святыи, не взгрустнулось по свету в юные годы твои? Не наскучили труды тяжкие, каждодневные, ни тогда, ни теперь?

— Они-то и не дали места скуке в душе моей, посвященной Богу и трудолюбию. Тогда я был крепче телом, ныне — духом. От молитвы — к трудам, от трудов — опять к молитвам. Мне некогда было скучать и кручиниться. На душе было легко, на сердце весело. В часы отдохновения, бывало, выйдешь поразмыслить о своей новой жизни, взглянешь на все окружающее, начнешь созерцать искусство Небесного Художника — и мысли потонут в дивной красоте. Дикое, но прекрасное очарование положительно сковывает тебя: высокие развесы елей, пышными шатрами нависшие и шумно раскачивающиеся над головой, а под ногами мрачное море, по которому ходят бурливые волны, глаз обнимает бесконечную сизую пелену, кипящую сверкающими алмазами при светиле дня. Одна мысль, что ты находишься на краю земли, отдаленном ото всего мира, возбуждает благоговейные и высокие чувства, не радость и не печаль закрадывается в душу, а что-то необъяснимое, что выше того и другого. Когда же в немом восторге слеза умиления прольется из глаз, упадет на сердце и освятит его, когда душа зарвется из пленной оболочки своей и запросится в мир чудес и света... тогда поймешь этот мир, несравненно более прекрасный, нежели оставленный тобою.

Зосима умолк.

Благоговейно слушала Марфа вдохновенные слова святого мужа и, после некоторой паузы, растроганным голосом сказала:

— Да, у кого святое тепло на сердце, тот всем доволен; но у кого душа больна...

Она не могла более продолжать и быстро надвинула покрывало на все лицо, чтобы он не прочел в нем движения сердечных мук.

— У кого она страдает светскими помыслами, так ее и многим не удовлетворить: это бездонный сосуд, которого ничем никогда не наполнишь, — отвечал, понявши ее, отец Зосима.

— Истинно верую в слова твои, — начала она опять, успокоившись. — Помнишь ли, праведный отче, когда ты искал покровительства моего от обиды двинских жителей. Я владею близ страны, тобой обитаемой, богатыми селами, но я отказывала тебе во всякой помощи. Теперь совесть, раскаяние мучат меня.

— Человеку долженствует помнить одно добро; тебя смутил искушитель в образе неверного литвина. Прости меня, боярыня. Хотя ты чтить его своим суженым, но истина руководствует мною, и я вторично повторяю устами ее: «отжени от себя врага, удались от зла и сотвори благо».

Она сидела с поникшей головой.

— И тогда неправеден был гнев твой, — продолжал Зосима. — Вспомни, сколько щедрот своих излил на тебя законный князь твой: все имущество твое, золото, серебро, камни дорогие и узорчя всякие, поселя со всеми землями и угодьями остались сохранены от алчбы вражеского меча; жизнь твоя, бывшая подле смерти, искупилась не чем иным, как неподкупной милостью великого князя московского. Сверх того, сын твой Дмитрий также не обойден был ею и пожалован знатным титулом боярина московского. Чего же недостает ненасытности твоей?

Глаза Марфы блеснули из-под вновь приподнятого ею покрывала.

Было заметно, что напоминание о прошедшем затронуло слабую струну ее сердца.

— Но где же сыновья мои? — воскликнула она. — Один под черным рубищем муромского монаха, быть может, скитается без приюта и испрашивает милостыню на насущное пропитание; другой, — жалованный боярин твой, — под секирой московского палача встретил смертный час! Это ли милость великокняжеская!

Она перевела дух.

— Я призвала тебя и одарила богато, чтобы посоветоваться, как отворотить общую напасть, грозящую всему Новгороду, а ты, пробудив во мне заснувшую было ненависть к мучительнице-тиранке — Москве, заставляешь еще каяться за то, что я люблю отечество свое и не меняю его на гонителя сына моего, меня самой, моей родины! Нет, Марфа не укротится, не посрамит себя!

— Много я сказал бы тебе на слова твои, — прервал ее отец Зосима, — но ты, несомненно, слышала уже слова владыки нашего Феофила, а мне остается только домолвить. Я прозреваю цель твою, меня не смутят козни любимца твоего Болеслава Зверженовского. Вы хотите властвовать! Но помните: кто выше станет, тот быстрее падет! Любовь всякая, как и твоя к родине, бывает часто слепою. Если ты не желаешь видеть света истины, то отпусти меня — я более не нужен тебе, и дары твои оставь при себе: они тяжелы, не по силам моим.

— Тебя любит народ. Как молитвы твои доступны слуху Всевышнего, так и увещания на подвиги бранные воспламеняют сердце каждого новгородца против врагов отчизны! — начала было умиловать его Марфа.

— Я не вижу их, — сказал он равнодушно, вставая со своего места.

— Так благослови же хоть меня на это, — выговорила с заметною досадою огорченная Марфа, поспешно вставая со скамьи.

— Отныне и до века благословляю и заклинаю тебя именем Вездесущего Свидетеля всех дел и помышлений наших, и всеми святыми угодниками новгородскими, и матерью-заступницею нашею, святой Софиею, только на добрые дела! — произнес торжественно Зосима и вышел.

— Гордый монах! — прошептала Марфа и в волнении начала ходить по светлице.

III

Клятва

Шаги отца Зосимы еще не затихли на чугунном полу узких сеней терема Борецкой, как Болеслав Зверженовский — незнакомец, разговаривавший со сторожем, — вошел в противоположную дверь светлицы Марфы, блеснув из-под своего короткого полукафтання ножнами кривой польской сабли.

— Здравствуй, боярыня, — сказал он мрачно, с заметным неудовольствием в голосе, низко и почтительно кланяясь хозяйке.

— А, это ты, пан, — ласково приветствовала она его, хотя выражение ее теперь почти открытого лица носило следы только что пережитого душевного волнения. — Ну, что нового? Я давно поджидаю тебя!

— Свет наш состарился: что же искать в нем нового? — коротко отвечал он.

— Ночь уже очернила его, теперь он не белый, а во мраке, и в этих случаях, по моему мнению, новостям должен быть урожай, — с ударением на каждом слове проговорила Марфа, усаживаясь на скамью.

— Ты, боярыня, сама была окружена за последнее время чернотой, от которой не спасет тебя и свет, а во мраке — новости мрачные; не спрашивай же о них!

— Что замышляешь ты сказать мне? — озабоченно спросила она, не поняв, или не желая понять его намеков. — Или худой оборот приняли наши дела, или мало людей на нашей стороне? Возьми же все золото мое, закидай им народ, вели от моего имени выкатить ему из подвала вино и мед... Чего же еще? Не изменил ли кто?

— Никто; все идет хорошо, — спокойно отвечал Болеслав, сядя возле Борецкой по данному ею знаку.

— С чего же ты такой озабоченный, пасмурный?

— Не дух ли сына твоего, Федора, до меня являлся проститься с тобою? — ответил он ей вопросом.

— Нет, это был чтимый Зосима, муж разумный, но... несколько... не знаю, что и сказать о нем.

— Не в нем дело! — раздражительно прервал он ее. — Ты давно не видала своего сына?

— С тех пор, как московские тираны выволокли его из родных стен и принудили постричься в Муроме; напрасно я старалась подкупить стражу, лила золото, как воду, они не выпустили его из заключения и доныне, не дозволили иметь при себе моих сокровищ для продовольствия в иноческой жизни... Но к чему клонится твой вопрос? Нет ли о нем какой весточки? — с трепетным волнением проговорила она.

— Боярыня, — торжественно, громко произнес Зверженовский, поднимаясь с лавки, — будь тверда! Ты нужна отечеству. Забудь, что ты женщина... dokonчи так, как начала. Твой сын уже не инок муромский, не черная власяница и тяжелые вериги жмут его тело, а саван белый, да гроб дощатый.

— Как?... он... второй?..

— Его домучили... Сегодня я узнал об этом достоверно от одного муромца, очевидца его последних минут. Но будь тверда!

Трудно описать выражение лица Борецкой при этом известии; оно не сделалось печальным, взоры не омрачились, и ни одно слово не вырвалось из полуоткрытого рта, кроме глухого звука, который тотчас и замер. Молча, широко раскрытыми глазами глядела она на рокового вестника, точно вымаливала от него повторения слова: «мечь». Зверженовский с злобной радостью, казалось, проникал своими сверкающими глазами в ее душу и также молча вынул из ножен саблю и подал ее ей.

— Значит ты понял меня? — произнесла она хриплым, сдавленным голосом. Он кивнул головой и, сложа руки на груди, вопросительно глядел на нее.